Роберт Стивенсон

Убийца

Роберт Льюис Стивенсон
Убийца

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6661776

Аннотация

«– Да, – сказал антиквар, – наши барыши возрастают от разного рода обстоятельств. Одни покупатели бывают невежественны, не понимают толк в вещах, и тогда мы наживаемся на их невежестве, то есть взымаем с них известный дивидент за свое превосходство в знании; другие люди бывают сомнительной честности, – и при этом антиквар поднял свечу так, что свет ее упал прямо на лицо его посетителя, – и в таких случаях мы тоже извлекаем пользу из своей высшей добродетели, – добавил он…»

Роберт Стивенсон
Убийца

* * *

Убийца

– Да, – сказал антиквар, – наши барыши возрастают от разного рода обстоятельств. Одни покупатели бывают невежественны, не понимают толк в вещах, и тогда мы наживаемся на их невежестве, то есть взымаем с них известный дивидент за свое превосходство в знании; другие люди бывают сомнительной честности, – и при этом антиквар поднял свечу так, что свет ее упал прямо на лицо его посетителя, – и в таких случаях мы тоже извлекаем пользу из своей высшей добродетели, – добавил он.

Маркхейм только что вошел с улицы, где было еще совершенно светло, и глаза его не успели еще освоиться со светом свечи и окружающим мраком лавочки антиквара, и потому при последних словах этого человека, вероятно, от близости поднесенной к самому его лицу зажженной свечи, он невольно болезненно заморгал и отвернулся.

Торговец странно захихикал.

– Вы явились ко мне в самое Рождество Христово, – продолжал он, – в такое время, когда вы знаете, что я один в целом доме, что я закрываю ставнями окна моей лавочки и ни под каким видом не делаю никаких сделок или торговых операций; ну, разумеется, вам придется заплатить мне за это! Вы должны заплатить мне за потраченное мною с вами время, которое я должен был употребить на сведение балансов

в моих книгах, и, кроме того, вам придется заплатить мне еще и за ту странную манеру, которая сегодня особенно ярко сказывается в вашем обращении со мной. Я, видите ли, все учитываю! Как вам известно, я – сама скромность, и никогда не задаю никому неприятных и щекотливых вопросов, но когда мой клиент не может смотреть мне прямо в глаза, и я соображаю, что тут что-то не совсем ладно, то и за это ему тоже приходится несколько приплачивать.

Тут антиквар еще раз хихикнул и лукаво и многозначительно прищурился, но затем перешел на свой обычный деловой тон, в котором, однако, все еще слышалась ироническая нотка.

– Ну, вы, конечно, как всегда, можете весьма точно и подробно объяснить, каким образом к вам попала та вещь, которую вы предлагаете мне купить? Вероятно, она все из той же богатой коллекции вашего дядюшки, не так ли? Удивительный это был коллекционер, надо отдать ему справедливость!

И маленький, бледный, тщедушный и сутуловатый антиквар приподнялся при этом на цыпочки и смотрел поверх своих золотых очков на своего посетителя, с видимым недоверием покачивая головой.

Маркхейм ответил на это взглядом, полным бесконечной жалости и непреодолимого отвращения, но отвечал сдержанно и спокойно:

– На этот раз вы ошибаетесь; я пришел не предложить вам

купить что-нибудь у меня, а наоборот, я пришел купить у вас сам то, что мне приглянется. В данный момент у меня нет таких редкостей, которые я мог бы предложить вам или от которых я хотел бы отделаться; дядюшкина коллекция совершенно исчерпана; в его кабинете не осталось ничего, не исключая резной дубовой панели, но даже в том случае, если бы там еще сохранилось кое-что, я сегодня скорее прибавил бы к ней что-нибудь, чем убавил из нее. В последнее время мне повезло на бирже, и сейчас я при деньгах. Сегодняшнее мое дело к вам очень простое: мне нужен интересный рождественский подарок для молодой особы, – пояснил он, становясь все более и более красноречивым по мере того, как он добирался до заранее приготовленной им маленькой басни. – Я, конечно, очень извиняюсь, что обеспокоил вас в такое неурочное время и по столь маловажному делу, но суть в том, что вчера я забыл позаботиться о подарке, а между тем я должен сделать это маленькое подношение непременно сегодня за обедом. Как вам известно, в наше время богатые невесты – такого рода вещь, которой пренебрегать никак нельзя.

Последовало непродолжительное молчание, во время которого антиквар, по-видимому, взвешивал с некоторым недоверием слова своего посетителя.

Царившую в лавке тишину нарушало только тиканье разнообразных часов, которых было много среди драгоценного хлама этой антикварной лавки, да еще доносившийся сю-

да отдаленный шум эйипажей, проезжавших по ближайшей улице.

– Пусть так, сэр, – сказал наконец антиквар, – вы мой старинный клиент и посетитель, и если, как вы говорите, вам представляется случай сделать хорошую партию, то я далек от мысли быть для вас препятствием в этом деле. Вот хорошенькая вещица для дамы, – продолжал он, – это ручное зеркальце XV столетия, удивительно изящное; ручаюсь за подлинность. Я приобрел его из собрания одного очень хорошего коллекционера, имя которого я вам не назову, в интересах моего клиента, который, как и вы, племянник и единственный наследник своего дядюшки, тоже замечательного коллекционера.

Произнося эти слова своим обычным сухим и несколько язвительным голосом, старик нагнулся, чтобы взять с полки зеркальце, и в тот момент, когда он сделал это движение, точно электрический ток пробежал по всему телу Маркхейма; он почувствовал дрожание в руках и в ногах, и на лице его отразились самые противоречивые чувства и страсти. Но все это прошло так же быстро, как и пришло, не оставив ни малейшего следа, кроме легкого, едва заметного дрожания руки, которая взялась теперь за зеркальце.

– Зеркало?! – произнес хрипло Маркхейм и спустя немного повторил более внятно: – Зеркало? Для рождественского подарка? Что вы?

– А почему нет?! – воскликнул антиквар, – Почему же не

зеркало?

Маркхейм смотрел на него с каким-то неуловимым выражением на лице.

– Вы спрашиваете меня, почему не зеркало? – сказал он. – А вот, взгляните сюда, в это самое зеркало, что вы видите в нем? Себя! Ну, и приятно вам это видеть, скажите? Нет, ну и мне тоже неприятно, да я думаю, что и каждому человеку это неприятно…

В тот момент, когда Маркхейм вдруг неожиданно поднес зеркало к самому лицу тщедушного маленького антиквара, тот невольно отшатнулся назад в испуге, но затем, видя, что бояться ему нечего и что молодой человек в данном случае ничего дурного не замышляет, старик захихикал и любезно возразил:

– Но я полагаю, сэр, что ваша будущая супруга не обижена красотой, а потому отражение ее в зеркале едва ли может быть неприятно ей…

Но Маркхейм не слушал его и продолжал свое:

– Я вас просил показать мне что-нибудь подходящее для рождественского подарка даме! А вы даете мне вот это!.. Это проклятое напоминание о возрасте, о наших грехах, проступках, о наших безрассудствах и безумии!.. Эту проклятую, наглядную совесть! Скажите, вы с умыслом это сделали? Или же вы поступили так просто не подумав, без всякой задней мысли? Скажите, для вас же будет лучше, если вы скажете мне правду!.. Знаете что?.. Расскажите мне что-ни-

будь о себе! Я попытаюсь угадать и, может быть, не ошибусь, если скажу, что в душе вы человек добрый, сострадательный, даже, может быть, милосердный…

Антиквар пристально и внимательно смотрел на своего собеседника. Странно, Маркхейм, по-видимому, вовсе не шутил; на его лице не было ни малейшего признака усмешки; нет, в нем как будто теплилась горячая искра надежды, голос звучал задушевно, но ни в глазах, ни в голосе не было и тени веселости.

– Скажите, сэр, к чему вы клоните этот разговор? – спросил наконец хозяин лавки.

– Как? – воскликнул посетитель. – Так, стало быть, вы ничуть не сострадательны, не милосердны, не богобоязненны, не совестливы… Вы не любите никого и никто вас не любит! Так вы, в сущности, только руки загребущие и глаза завидущие! – И голос его теперь звучал укоризненно и мрачно. – Вы только скряга, руки которого тянутся к деньгам, вы скупец, хранящий и стерегущий эти деньги, и больше ничего! Боже правый! И такое существо зовется человеком! Скажите же мне, неужели нет в вас ничего, кроме этой страсти к деньгам! Неужели это все, и больше нет ничего в этой душе!

– Постойте, – сказал антиквар несколько резким тоном, – я вам скажу, что это… – Но затем, не договорив, он опять захихикал и продолжал уже иным, более мягким тоном: – Вы, как я вижу, женитесь по любви, и, вероятно, вы уже успели выпить за здоровье вашей нареченной… Так, так!

– А-а!.. – воскликнул на это Маркхейм со странным возбуждением и видимым любопытством, – вы тоже были влюблены? Да?! Расскажите же мне об этом, это должно быть очень любопытно!

– Я?! – запротестовал антиквар, – я влюблен? Что вы! У меня никогда не было времени на это, да и теперь у меня тоже нет времени на такие пустяки… Так вы берете зеркальце, сэр?

– Куда спешить, – возразил Маркхейм, – мне так приятно стоять здесь и беседовать с вами, а жизнь так коротка и так ненадежна, что я не желал бы лишать себя ни единого удовольствия, а тем более такого невинного, как это! Мы должны всеми силами цепляться за всякую, даже малейшую, радость, доступную нам, как цепляется человек, стоящий на краю пропасти или обрыва, за самые крошечные пучочки травы; каждая секунда нашей жизни это такая опасная, обрывистая скала, если только подумать хорошенько, скала высокая-превысокая, настолько высокая, что если мы свалимся и сорвемся с нее, то от нас не останется ни образа, ни подобия человека. Вот почему особенно приятно поговорить по душам; будем же говорить друг о друге и о себе – будем говорить открыто. Зачем нам всегда скрываться под личиной? Будем искренни и доверчивы, как знать, быть может, мы могли бы стать друзьями, если бы ближе знали друг друга!

– Я могу вам сказать только одно, сэр, – сказал довольно

сухо антиквар, – вы или покупайте что вам надо, или уходите из моей лавки.

– Да, да, – сказал Маркхейм, – действительно, довольно балагурить, пора и к делу! Покажите мне что-нибудь другое – зеркала я не хочу.

Антиквар еще раз наклонился, чтобы положить зеркальце на его место, на полку, причем его редкие белокурые волосы упали ему на глаза. Маркхейм подался немного вперед, держа одну руку в кармане своего широкого пальто, затем он приподнялся немного и втянул в себя воздух, как бы собираясь наполнить им свои легкие, чтобы крикнуть во всю мочь, и при этом на лице его отразилось разом несколько противоречивых чувств и ощущений: ужас, отвращение, решимость, непреодолимое влечение к чему-то, и вместе с тем физическое чувство гадливости; из-под растерянно вздернувшейся верхней губы как-то жутко выглянули его острые белые зубы.

– Может быть, это вам подойдет, – сказал антиквар, и в тот момент, когда он стал приподыматься, Маркхейм сзади наскочил на него, длинный веретено-подобный кинжал сверкнул в воздухе, удар был нанесен. Антиквар забарахтался, как курица с перерезанным горлом, затем ударился виском о полку и копной свалился на пол.

А часы в лавке продолжали тикать на разные голоса; одни довольно громко, но медленно и величаво, как подобало их почтенному возрасту и их внушительным размерам,

другие торопливо болтали своими медными язычками, и все разом, каждые по-своему отсчитывали секунды сбивчивым, нестройным хором, наполняя царившую кругом мертвую тишину своеобразными, странными, жуткими звуками. Но вот по тротуару мимо дверей лавки пробежал мальчуган, и стук его тяжелых сапог на каменных плитах заглушил на мгновение эти странные тикающие звуки часов и пробудил Маркхейма к сознанию действительности и всего окружающего. Он в ужасе осмотрелся кругом. На конторке горела свеча и пламя ее медленно колебалось от движения воздуха. От этого мелкого колебания пламени все помещение наполнилось бесшумным, как бы призрачным движением; все кругом колебалось, дрожало, шаталось, кивало и ходило ходуном, как при качке на море. Высокие, длинные тени ложились от различных предметов на стены, потолок и другие предметы, и тени эти дрожали и изгибались, словно насмешливо кивали кому-то; мрак, скопившийся в углах, и широкие темные пятна в тех местах, куда падал свет свечи, как будто ширились и росли, вздувались и опадали, как грудь при тяжелом дыхании; лица старинных портретов и фарфоровых или костяных китайских божков менялись и расплывались как отражения на текучей воде. Дверь во внутреннее помещение была только притворена и через образовавшуюся щель яркий дневной свет узкой полосой прорезывал мрак, сгустившийся в глубине торгового помещения, напоминая своей формой яркий указующий перст.

Полный ужаса блуждающий взор Маркхейма со всех этих окружающих его предметов перешел наконец на труп его жертвы. Он лежал скорченный, и в то же время все его члены как будто вытянулись, но, несмотря на это, он казался таким маленьким, таким невероятно жалким и тщедушным; он как будто съежился даже против того, каким он был при жизни. В этом почти нищенском платье, и в этой жалкой, неестественной, гадкой позе, антиквар лежал на полу за прилавком, точно кучка опилок, сметенных с пола вместе с мусором. Маркхейм сперва боялся взглянуть на труп, но теперь он смотрел на него, и ничего! Однако по мере того, как он смотрел на эту кучку старого поношенного платья и небольшую лужицу крови, что-то начинало как будто говорить в ней и в нем самом.

– Тут он лежит, тут ему и лежать! – мысленно произнес Маркхейм. – Теперь некому привести в движение весь хитроумный механизм этих мускулов, некому управлять чудом передвижения; теперь ему лежать здесь до тех пор, пока его не найдут. А найдут? Что тогда? Тогда это мертвое тело подымет шум на весь мир, так, что его услышит вся Англия, и разнесутся по всему свету отголоски судебного преследования и начнется такая травля человека, какой не бывает и на зверя… Да, живой ли или мертвый, он все равно мне враг! Да, было время, когда я мог размозжить ему голову. – И слово «время» почему-то засело у него в мозгу… – Да, было время, а теперь, такое время, когда дело уже сде-

лано, – мысленно рассуждал Маркхейм, – время, переставшее существовать для жертвы, стало жгучим, мгновенным и жутким для убийцы.

Эта мысль не успела еще вылететь у него из головы, как часы одни за другими, и по нескольку вместе, стали отбивать время; одни быстро, скороговоркой, как будто торопясь сделать свое дело, другие торжественно, медленно и раздельно; одни глубоким басом, как старые башенные часы на колокольне собора или как церковные колокола, другие – звенящим тоненьким голоском выкрикивали время, третьи – на слабых, дрожащих нотах выводили прелюдию старинного вальса. Все они возвещали три часа пополудни.

Этот разноголосый звон часов, прервавший внезапно мертвую тишину, заставил вздрогнуть убийцу и вернул его к действительности. Он как бы встрепенулся и принялся ходить взад и вперед со свечой в руке, сопровождаемый целым роем движущихся теней и невольно содрогаясь до глубины души при виде своего собственного отражения в зеркалах. Множество роскошных ценных зеркал, частью местного производства, частью старинных венецианских и амстердамских, повторяли повсюду его бледное, растерянное лицо, и ему казалось, что он окружен целой армией шпионов. Его собственные глаза, встречаясь с теми глазами, казалось, уличали его, он читал в них свой приговор и тайну своего преступления; и звук его шагов, легких и почти неслышных, неприятно нарушал окружающую тишину. И в то время, как

он почти машинально набивал свои карманы всем, что попадалось ему под руку, его ум мучил и терзал его, уличая и обвиняя его с болезненным раздражением, в тысячах оплошностей и недочетов его плана. Он мог бы избрать более позднее время; он должен был подготовить себе заблаговременно alibi; он не должен был прибегать к помощи стилета или кинжала, следовало быть более осторожным, можно было наброситься на свою жертву, связать, заткнуть рот кляпом, чтобы несчастный не мог кричать и звать на помощь, а убивать не было никакой надобности. Или же он должен был быть еще смелее, еще решительнее, и убить также и служанку. Словом, он должен был все сделать совсем иначе. И эти горькие, бесплодные сожаления, томительные, мучительные и бесполезные, терзали его ум и душу, утомляли его мозг, порождали болезненное желание изменить то, чего уже нельзя было изменить, выработать план более совершенный, но который теперь уже нельзя было осуществить, и стать строителем того будущего, которое успело уже стать невозвратным прошедшим… И наряду со всем этим, при всей лихорадочной деятельности мысли, грубый животный страх и нелепый ужас охватывали все его существо, леденили ему душу и грызли его мозг, как крысы грызут балки и стропила покинутого здания, наполняя его воображение страшными галлюцинациями и дикими, беспорядочными фантазиями. Минутами он ощущал на своем плече тяжелую руку констэбля, и при этом он дрожал, словно рыба, попавшая на крючок. Перед ним

быстрой вереницей проносились: скамья подсудимых, тюрьма, виселица и черный гроб. И непреодолимый страх, боязнь людей, идущих по улице, вдруг осаждал его, как победоносная армия осаждает беззащитный город. Невозможно, думал он, чтобы ни малейший звук борьбы не донесся до их слуха и не возбудил их любопытства; ему казалось, что во всех соседних домах он видит, как люди застыли в неподвижных позах и прислушиваются к тому, что происходит здесь. Одинокие люди, осужденные проводить этот день Рождества без родных и друзей, одни со своими воспоминаниями о прошлом, внезапно прервали нить этих милых сердцу дум, этих сладких грез: страшное дело совершилось в их соседстве! Счастливая семья, дружная и веселая, вдруг окаменела от ужаса и смолкла, сидя за праздничным столом: мать еще держит кверху поднятый палец, призывая всех к вниманию, а там, дальше, люди всех классов и сословий, всех положений и возрастов, – все, как один, молчат и ждут, и желают видеть его, Маркхейма, на виселице, – и все они готовы сами свить для него веревку… Минутами ему начинало казаться, что как бы тихо и осторожно он ни ступал, его все-таки слышно; звон высоких богемских бокалов на полках раздавался в его ушах громко, как звон колоколов, а тиканье часов ему казалось столь раздражительным и шумным, что у него появлялось желание остановить все часы. А минуту спустя его испуганный ум с быстротой молнии создавал ему новые страхи, и самая тишина этого помещения начинала ему казаться зло-

вещей и жуткой, могущей породить для него новые опасности. Такая тишина должна поразить каждого и заставить застыть от ужаса всех прохожих; и при этой мысли он начинал ступать смелее, шумно передвигал вещи, роясь в сокровищах, загромождавших эту лавку, и подражая с удивительной обдуманностью и точностью хлопотливому хозяину, прибирающему у себя в доме с величайшей непринужденностью.

Но к этому времени он до того измучился и истерзался всеми этими тревогами и страхами, что ему начинало казаться, что он близок к умопомешательству. Действительно, одна половина его мозга еще оставалась лихорадочно деятельной, изворотливой, а другая уже начинала мутиться, теряла свои умственные способности. Особенно сильно его подавляла следующая галлюцинация: побледневший от ужаса сосед жадно прислушивается, прилепившись лицом к стеклу своего окна, и ждет чего-то; прохожий, под впечатлением ужасного подозрения, останавливается на тротуаре… Но они могли только предполагать, догадываться, а видеть они не могли! Сквозь толстые каменные стены и плотно закрытые дубовые ставни могли проникнуть только звуки. Да, но здесь, в доме, может ли он быть уверен, что он один и что кроме него здесь нет живой души? Он знал, что он один, он видел еще раньше, чем вошел сюда, как единственная прислуга антиквара ушла из дома по своим маленьким любовным делам, принарядившись как могла. «Отпросилась на целый день», – можно было прочесть в каждом ее движении, в

улыбке, в каждой ленточке, украшавшей ее скромный наряд. Да, он был один в этом доме, наверное! И все же во всем этом пустом доме, у себя над головой, он несомненно слышал какой-то шум, движение, тихие, едва слышные шаги, ощущал, явственно ощущал чье-то постороннее присутствие, – до того явственно, что его воображение следовало за этим невидимым и неведомым существом из комнаты в комнату, из угла в угол, по всему дому. То это было бесформенное существо, у которого не было лица, но были глаза, которые все видели, или же это была просто тень, его собственная тень, бродившая по дому в то время, как он оставался здесь, внизу; или же он вдруг различал у нее лицо и образ убитого антиквара, дышащее хитростью, лукавством и ненавистью.

Иногда, сделав над собой большое усилие, он решался взглянуть на полуотворенную дверь, которая одновременно притягивала и пугала его. Дом был высокий, окно в крыше, пропускавшее дневной свет, маленькое и загрязненное, день туманный, точно слепой, и свет, проникавший в окна нижнего этажа, был слабый и болезненный. Едва приметной, тусклой световой полосой ложился он на порог полуотворенной двери из комнаты в лавку. И в этой полосе сомнительного света как будто все стояла какая-то колеблющаяся тень.

Вдруг с улицы в наружную входную дверь какой-то жизнерадостный господин, проходивший мимо, принялся колотить набалдашником своей трости в закрытую ставню, сопровождая свой стук выкриками, шутками и насмешками, в

которых он поминутно называл антиквара по имени и звал его, словно рассчитывая, что он откликнется. Оледенев от ужаса, Маркхейм взглянул на мертвеца, но тот лежал неподвижно; он был уже далеко, и ему не слышен был ни этот стук, ни этот зов шутника; он потонул в беспредельном океане вечного молчания и забвения, и теперь его имя, которое прежде, наверное, привлекло бы его внимание даже среди завывания бури, стало пустым звуком среди этой гробовой тишины. Но вот жизнерадостный господин перестал колотить палкой по ставне и двинулся дальше. Это обстоятельство, однако, ясно говорило, что нужно спешить и, сделав то, что еще оставалось делать, убраться из этой обличающей его обстановки, уйти подальше от трупа и погрузиться с головой в волны многолюдной лондонской толпы, а к вечеру добраться до безопасной пристани и видимой неповинности, то есть до своей постели на другом конце города. Один посетитель приходил уже, другой мог прийти с минуты на минуту, и этот второй может оказаться более настойчивым, чем первый… Совершить такое дело и не вкусить его плодов было бы слишком нелепо! Такой гнусной ошибки он не мог допустить в своей жизни. Деньги – вот что было теперь единственной заботой Маркхейма, и как средство достать их – ключи! Прежде всего он взглянул себе через плечо за спину на полуотворенную дверь, ведущую во внутреннее помещение; там, в дверях, все еще стояла та же тень, колеблющаяся, неясная… Затем без всякого сознательного отвращения

или угрызений совести, но с чисто физической дрожью во всем теле и с чисто животным трепетом, он подошел к трупу и склонился над ним. Человеческий образ почти совершенно исчез в этой бесформенной, безжизненной туше. На полу лежало точно набитое опилками чучело с разметавшимися в стороны членами и перегнутым пополам корпусом. Но все же эта туша напоминала ему что-то знакомое. Хотя на вид она казалась такой жалкой, незначительной, не внушающей никаких опасений, возможно было, что наощупь она произведет на него более сильное, быть может, потрясающее впечатление. Однако он собрался с духом, приподнял труп за плечи и перевернул его на спину. Тело было странно легко, и члены, словно все они были переломаны, падая, принимали самые странные положения, как корпус дешевой куклы. Само лицо было лишено всякого выражения; оно было бледно как воск и так же тускло-блестяще и только на одном виске отвратительно перемарано кровью. Это было единственное неприятное для Маркхейма обстоятельство, возбудившее в нем что-то вроде отвращения в первый момент и вслед затем тотчас перенесшее его к тому далекому времени, когда он был еще почти ребенком. В одно мгновение его воображение нарисовало перед ним тот ярмарочный день в рыбацкой деревеньке, который долгое время был памятен ему. Серый туманный день, свистящий ветер с моря, на главной улице деревушки пестрая толпа поселян, движущихся во всех направлениях; свистят свирели, звуки духовых инструментов

оглашают воздух, там и сям слышится барабанная дробь, зазывающая любопытную публику в ярмарочные балаганы, и гнусавый голос гусляра, поющего протяжно и жалобно свои баллады и сказания. И среди всей этой толпы затерявшийся в ней с головой мальчуган лет восьми-девяти протискивается то взад, то вперед и засматривается с жадным любопытством и в то же время и со страхом на все выставленные приманки и на товары и наконец добирается до большой площади местечка и вместе с толпой останавливается перед большим открытым балаганом, на возвышении которого красуется громаднейший экран с расклеенными на нем лубочными плакатными картинами, безобразно нарисованными и отвратительно ярко и примитивно размалеванными, представлявшими собой изображения разных ужасов: «Швея Маннингс истязает свою ученицу», «Семейство Броупригг и зарезанный ими у них за столом гость», «Вэр умирает задушенный руками Туртелля» и еще десятка два подобных же сюжетов и картин, наглядно и ярко изображавших недавно нашумевшие и разглашенные всеми английскими газетами известные преступления. Все это он видит так живо, как в тот день! Он вновь тот самый мальчик и смотрит, как тогда, на все эти картины с чувством физического возмущения и непреодолимого отвращения ко всем этим злодеям; с чувством жуткого ужаса он содрогается перед этими злодеяниями, перед этими гадкими, отвратительными картинами; его оглушает барабанная дробь, в его памяти воскресает даже самый мо-

тив слышанной в тот день музыки, и при этом он теперь испытывает приступ тошноты; он чувствует, что ему делается дурно; его мутит, и он ощущает внезапную слабость; ноги начинают подкашиваться, но он должен противостоять этому приступу минутной слабости, он должен победить ее!

И он счел за лучшее прямо взглянуть в лицо содеянному им страшному делу, а не отворачиваться от него трусливо и малодушно. Он нагнулся близко-близко над лицом мертвеца, вынуждая свой ум осознать и постигнуть весь ужас своего преступления. Еще так недавно это мертвое лицо было подвижно и отражало попеременно все волновавшие этого человека чувства; этот бледный и немой рот произносил слова, это тело было полно движения и мускульной энергии, а теперь его рукой эта жизнь была пресечена и остановлена, подобно тому, как часовой мастер одним пальцем останавливает ход и бой часов. Но напрасно он рассуждал и анализировал свой поступок – ни малейшее чувство раскаяния не пробуждалось в его душе. Совесть его молчала, и то самое сердце, которое когда-то, да даже и теперь еще, всего за одну какую-нибудь минуту, содрогалось при виде злодейств, изображенных на холсте, взирало без содрогания на страшную действительность. Ничто решительно не шевелилось при этом в его душе. Он испытал нечто похожее на слабый проблеск жалости к человеку, которого судьба напрасно наделила всеми данными для того, чтобы превратить жизнь в сей земной юдоли в сад наслаждений, и который не сумел

воспользоваться этим, который никогда не жил, а теперь был мертв! Но вот и все, а раскаяния – ни тени! И, отогнав от себя все эти размышления, он отыскал ключи и направился к полуоткрытой двери, ведущей во внутренние покои. На дворе теперь лил сильный дождь, и шум барабанившего по крыше ливня нарушал безмолвие и тишину опустевшего дома. Все комнаты этого дома производили теперь впечатление каких-то сырых пещер, по стенам которых ручьями стекают струи воды, потому что во всех углах непрестанно отдавался шум дождевых струй, сливавшийся с тиканьем часов в лавке.

Когда Маркхейм приближался к двери, ему стало казаться, что он слышит в ответ на свои осторожные шаги другие, столь же осторожные шаги, удаляющиеся вверх по лестнице, а на пороге все еще слабо колышется тень. Тогда он делает над собой невероятное усилие и заставляет себя смело распахнуть дверь.

Слабый свет туманного пасмурного дня тускло стелется по голому каменному полу холла и лестницы, слабо отсвечивает на гладкой полированной поверхности древнего рыцарского вооружения, надетого на манекен, стоящий на площадке лестницы с опущенным забралом и алебардой в руке, и на темной резьбе по дереву, и на рамах старинных картин, развешанных на желтом фоне стен, над резными панелями. Дождь так громко барабанил по крыше, окнам и трубам, в так сильно отдавался по всему дому, что нервно напряженный слух Маркхейма стал различать в этом дождевом

шуме разнообразные звуки. Шаги и вздохи, мерный топот ног проходящего где-то в отдалении полка, звон монет при подсчете, скрип дверей, тихонько приотворяемых, – все эти звуки как будто сливались со шлепаньем тяжелых капель дождя о стеклянный купол крыши, с шумом стремительно низвергающихся по желобам и водосточным трубам дождевых струй, и все это вместе создавало в нем ощущение чего-то жуткого. Впечатление, что он здесь не один, росло и усиливалось с каждой минутой, доведя его до состояния, близкого к сумасшествию. Со всех сторон его осаждали призраки чьего-то невидимого присутствия; он слышал, как эти бесплотные существа двигались и ходили в верхних комнатах; он слышал, как там, в лавке, мертвец подымался на ноги; и когда он сам, сделав над собой громадное усилие, стал с трудом подыматься по лестнице, он явственно слышал, как чьи-то легкие шаги впереди удалялись от него, а чьи-то другие шаги упорно следовали крадучись за ним. «Если бы я только был глух, – думал он, – как бы я был спокоен теперь, как бы спокойна была теперь моя душа!» Но вслед за тем, прислушиваясь с удвоенным вниманием, он начинал благословлять судьбу за это тревожное состояние духа, стоящее на страже его безопасности. Он беспрестанно поворачивал голову, оглядываясь то назад, то вправо, то влево; глаза его, готовые выскочить из орбит, вращались из стороны в сторону и как будто улавливали везде нечто, похожее на хвост чего-то, не имеющего названия, чего-то бесформенного, исче-

завшего в тот момент, когда глаза его обращались в ту сторону. Двадцать четыре ступени, ведущие на второй этаж, превратились для него в двадцать четыре агонии смертельного страха. Здесь, в первом этаже, двери, выходившие на площадку, стояли открытые настежь; три из них зияли черными проемами подобно трем громадным пушечным жерлам, разинувшим свои смертоносные пасти, чтобы поглотить его. И эти раскрытые двери болезненно бередили его расшатанные нервы. Он сознавал, что нигде он не будет чувствовать себя достаточно защищенным и укрытым от любопытных и проницательных человеческих глаз, и его неудержимо влекло домой, запереться в четырех стенах своей комнаты, потонуть в подушках и пуховиках своей постели, спрятаться под простынями и одеялами и сделаться невидимым для всех, кроме одного Бога! И при этой последней мысли он слегка призадумался. Он стал припоминать рассказы о других убийцах, о том, какой страх они, как говорят, испытывали при мысли о небесном возмездии, но с ним, с Маркхеймом, ничего подобного не было. Он боялся только, как бы сама его человеческая природа, следуя своим неизменным законам, не выдала его, не представила какой-нибудь несомненной очевидности его преступления, а в еще большей степени он боялся, испытывая рабский, суеверный страх, возможности, что эта самая природа, желая погубить его, произвольно нарушит свои законы и в данном случае пойдет наперекор им, чтобы тем вернее обречь его на гибель. Ему казалось, что

он ведет игру, основанную всецело на расчете, где все зависит от правил, от ловкого хода, от искусного расчета шансов и последствий. А что, если природа, как проигравшийся деспот, пинком ноги опрокинет шахматную доску со всеми так умно расставленными им на ней фигурами, чтоб отомстить ему за нарушение ее исконных законов! Нечто подобное, как утверждают историки, случилось с Наполеоном: зима, наступившая неожиданно, раньше срока разрушила все планы и расчеты гениального стратега и погубила его и его победоносную армию. То же самое может случиться и с Маркхеймом; толстые кирпичные стены дома могут стать прозрачными как хрусталь и обнаружить все его действия подобно тому, как мы видим работу пчел в стеклянном улье. Крепкие балки и доски пола могут поддаться под его ногами как сыпучий песок, и он может завязнуть между их обломками как пойманный капканом зверь. Да что! Бывали еще более странные и невероятные случаи, которые могли повториться теперь и уничтожить и погубить его. Например, мог обрушиться дом и погрести его под своими обломками, рядом с трупом убитого им антиквара; или же мог загореться соседний дом, и пожарные обступят его со всех сторон и взломают ставни и двери этого дома и убийство обнаружится – вот чего боялся Маркхейм! В известном смысле все это, конечно, тоже могло назваться Божьим Провидением, Перстом Божьим, карающим грех, но о Самом Боге, как высшем Существе, он не думал и нисколько не беспокоился о Нем. Он

сознавал, что *его* поступок был исключительный, но исключительными были и его побуждения, и его оправдания, которые были известны Богу, и только от Бога он ждал и справедливости, и милосердия, но отнюдь не от людей. Когда он наконец благополучно добрался до гостиной и плотно запер за собой дверь, он почувствовал на минуту некоторое облегчение и успокоение от преследовавших его все время страхов и опасений. Комната эта была, так сказать, совершенно голая, без занавесей и портьер, без ковров или каких-либо иных украшений, вся заставленная упаковочными ящиками и разнокалиберной мебелью; несколько больших простеночных зеркал, в которых Маркхейм увидел себя с разных сторон, как актера на сцене, смутили его в первую минуту. Множество старинных картин в рамах и без рам стояли на полу, повернутые лицом к стене; тут же стоял превосходный буфет работы Шератона и старинный комод-маркетри, а также и большая парадная кровать под пологом из старинного затканного золотом штофа. Окна этой комнаты доходили до пола и отворялись как двери, но, по счастью, нижняя часть их была закрыта ставнями, и это мешало соседям видеть находившихся в комнате. Придвинув довольно большой упаковочный ящик к комоду, Маркхейм принялся подбирать к нему ключи. Это было дело нелегкое: ключей было много, а кроме того, это было скучно, потому что в конце концов в комоде могло и ничего не оказаться, а время было дорого и летело быстро. Но занятие это требовало напряженного вни-

мания, и потому оно как-то разом отрезвило его. Краешком глаза он мог видеть дверь, и время от времени он даже прямо поглядывал на нее, как главнокомандующий осажденной крепости с чувством удовлетворения убеждается в хорошем и надежном состоянии своих фортов и укреплений. Теперь он чувствовал себя все же умиротворенным; дождь, ливший на улице, звучал теперь в его ушах естественно и даже приятно; а вот на той стороне кто-то заиграл на рояле, мотив какого-то гимна, и голоса целого хора детей подхватили напев и слова. Какая величественная, какая успокаивающая и умиротворяющая мелодия! Как свежи и чисты эти молодые голоса! Маркхейм прислушивался, улыбаясь, к этому гимну и в то же время перебирал ключи, а в голове его рождались образы и картины, соответствующие настроению, созданному гимном. Он видит группу детей, направляющихся в церковь… Вот заиграл орган, дети поют под его торжественные протяжные звуки; или гурьба детей рассыпалась по полю, у ручья резвятся купающиеся шалуны, другие пускают змея под самые облака, гонимые ветром по небу; а затем, при новом переходе гимна, снова чудятся ему идущие в церковь люди и торжественное воскресное служение, слышится высокий приятный голос священника (который он вспоминает с улыбкой) и мерещатся потускневшие золотые буквы десяти заповедей на кафедре.

И вот, в то время как он так сидел перед комодом, занятый подбиранием ключей, но витавший мысленно вдали, он

вдруг вскочил в испуге со своего места, его бросило и в жар, и в холод, он едва удержался на ногах; кровь прилила ему к голове и к сердцу, и он стоял ошеломленный, дрожа всем телом. Он явственно услышал, что кто-то медленно и уверенно подымался по лестнице, и спустя минуту чья-то рука взялась за ручку двери, замок щелкнул и дверь тихонько отворилась.

Страх сжимал грудь Маркхейма как в тисках. Он не знал, чего ему ожидать: встал ли мертвец и притащился сюда, или же блюстители общественной безопасности, орудия человеческого правосудия, то есть представители судебной власти, явились сюда за ним? Или же, наконец, может быть, какой-нибудь случайный свидетель наугад, вслепую, набрел на его преступление и передаст его, убийцу, в руки правосудия, и потащит его на виселицу!

Но когда чье-то лицо просунулось в полуотворенную дверь, и, оглядевшись кругом, обратилось к нему, дружелюбно кивая и улыбаясь, как старому знакомому, а затем снова скрылось за дверью, которая бесшумно затворилась, Маркхейм не мог долее совладать с собой, и хриплый крик невыразимого ужаса вырвался против его воли у него из груди. На этот крик странный посетитель вернулся.

– Вы меня звали? – спросил он, просовывая голову в щелку и любезно улыбаясь. И с этими словами он вошел в комнату, тщательно заперев за собой дверь.

Маркхейм стоял и смотрел на него во все глаза. Быть может, у него рябило в глазах, или самое зрение несколько зату-

манилось, но только ему казалось, что очертания лица и фигуры вошедшего поминутно менялись и расплывались, как лица портретов и фарфоровых китайских божков, там внизу, в лавке, при колеблющемся свете свечи. Временами ему казалось это лицо знакомым, минутами ему даже казалось, что этот человек походит на него самого, а временами ему казалось, что он видит его в первый раз в жизни; все время он чувствовал в груди точно холодный камень, точно целую глыбу ужаса, давящего, гнетущего, тупого, нераздельного с сознанием, что это существо было не от земли и не от Бога.

А вместе с тем оно было до невероятности обыденное; такое существо, какие встречаются в жизни на каждом шагу, – и лицо, и манера, и платье, все было самое обыкновенное; он стоял и, добродушно улыбаясь, смотрел на Маркхейма, а затем весьма просто и вежливо добавил:

– Вы, если я не ошибаюсь, ищете деньги?

Маркхейм на это ничего не ответил.

– Я должен вас предупредить, что служанка антиквара в настоящий момент уже рассталась со своим возлюбленным, покинув его раньше, чем обыкновенно, и что она скоро уже будет здесь. А если мистера Маркхейма застанут здесь, в этом доме, то я полагаю, что мне нет надобности описывать вам, какие могут произойти от того последствия!

– Разве вы меня знаете? – воскликнул убийца.

Гость только улыбнулся.

– Вы издавна были моим большим любимцем, – сказал

он, – я давно слежу за вами и не раз старался помочь вам, выручить вас из беды, но вы постоянно как будто игнорировали меня.

– Кто вы такой? – воскликнул Маркхейм. – Дьявол, что ли?

– Кто я такой? Да не все ли равно? – ответил собеседник. – Это не может иметь никакого значения для той услуги, которую я собираюсь вам оказать.

– Напротив, это не только может, но и имеет громадное значение в моих глазах! – запальчиво крикнул Маркхейм. – Принять помощь от вас? Нет, никогда! Вы, я вижу, еще ее знаете меня, и слава Богу, что вы меня не знаете.

– Я вас знаю, – спокойно, но уверенно, с оттенком доброжелательной строгости в голосе, возразил посетитель. – Я знаю вас до самых тайников вашей души.

– Знаете меня! – воскликнул Маркхейм. – Кто это может утверждать? Вся моя жизнь не что иное, как личина! Одна сплошная клевета на самого себя? Я всю жизнь только и делал, что клеветал на себя, на свои природные качества, чувства и наклонности, – я очернил, я оболгал себя! И все так поступают, все люди на самом деле лучше, чем они кажутся, лучше, чем та внешняя оболочка, та кора, что нарастает на них и мешает им свободно двигаться, и жить с открытою душой, с душой нараспашку? Вы ежедневно видите, как жизнь тащит людей в сторону от избранного ими пути, подобно тему, как какие-нибудь наемные убийцы захватывают силой и

уносят свою жертву, завернув ее *в* темный плащ. Если *бы* людям предоставлено было самим устраивать свою судьбу, если бы вы могли видеть их настоящие лица, – вы увидели бы в них святых в героев! Я, быть может, хуже, чем большинство людей, на мне наросло и тяготеет больше зла к больше греха, и мое оправдание известно только мне да Богу! Но если бы у меня сейчас было время, я открылся бы вам.

– Мне? – спросил гость.

– Да, вам прежде всего, – подтвердил Маркхейм. – Я полагаю, что вы умны и сможете понять меня. Я думал, что раз вы существуете, то вы должны уметь читать в сердцах, людей, а между тем вы, как я вижу, хотите судить обо мне по моим поступкам! Подумайте только, что значат все мои поступки? Я родился и жил в стране гигантов; эти злые гиганты таскали меня с самого моего рождения за руку, куда они хотели, не спрашивая меня, даже часто и против моей воли! Это гиганты обстоятельств, правящих жизнью человека. И после этого вы хотите судить обо мне по моим поступкам? Да разве вы не можете заглянуть глубже, в самую душу человека? Неужели вы не видите и не можете понять, что всякое зло ненавистно мне? Неужели вы не можете прочесть в моем сердце, в моем разуме светлые предначертания совести, ничем не запятнанной и не замутненной? Я часто не слушал ее голоса и шел сознательно против ее требований и закона, во я никогда не искажал ее никакими софизмами, не допускал никаких сделок с нею? Неужели вы не видите во мне яв-

ления, по всей вероятности, очень обыкновенного среди людей, – «невольного грешника»?

– Не спорю; вы высказали все эта весьма прочувственно в убедительно, – отозвался собеседник. – Но только меня все это вовсе не касается. Все такого рода психологические тонкости вне моей компетенции, и я отнюдь не интересуюсь, путем какого рода стечения обстоятельств или в силу каких побудительных причин вы могли быть увлечены в сторону. Для меня важно только, чтобы вы уклонились в известную сторону. Но время летит! Правда, прислуга несколько запаздывает, заглядывая в лица прохожим, глазея по сторонам, останавливаясь перед картинами, выставленными в окнах магазинов, перед афишами, расклеенными на столбах, но тем не менее она все приближается к дому и скоро будет здесь. Поймите, ведь она это почти одно и то же, что сама виселица, приближающаяся к вам, шагая по людным улицам в их рождественском убранстве! Ну, помочь вам? Указать вам, где вы найдете деньги? Ведь я все решительно знаю!

– А какой ценой должен я купить эту услугу? – спросил Маркхейм.

– Не будем говорить о цене! Я предлагаю вам мои услуги даром, в качестве рождественского подарка! – ответил посетитель.

Маркхейм не мог при этом удержаться от горькой усмешки, в которой сквозило некоторое торжество.

– Нет, – сказал он, – я ничего не приму от вас, и если бы

я умирал от жажды и ваша рука поднесла мне спасительный кубок, я все-таки нашел бы в себе силу и мужество, чтобы отстранить его! Может быть, я слишком доверяю своим силам, но, во всяком случае, я не сделаю ничего подобного, что дало бы вам право сказать, что я сознательно и добровольно предался злу и запродал душу свою лукавому!

– Но я ничего не имею против предсмертного раскаяния, – заметил посетитель.

– Вероятно, потому, что вы не верите в действительность и спасительность такого раскаяния! – воскликнул Маркхейм.

– Я этого не говорю, – возразил гость, – я смотрю на эти вещи с другой точки зрения; когда жизнь кончена, у меня всякий интерес к данному существу совершенно пропадает. Если человек жил и служил мне, распространяя темное учение и темные взгляды под знаменем религиозного учения, или иным каким путем сеял плевелы на Божьей ниве среди чистой пшеницы, как это всегда делали вы из послабления вашим похотям и желаниям и в угоду вашей жажде наслаждений, то в тот момент, когда этот человек становится так близок к своему освобождению, он может ко всему остальному прибавить всего только еще одну эту услугу мне – раскаяться в содеянном и умереть с улыбкой на устах, примиренный с самим собой, с людьми и даже с Богом, и этим утвердить в вере и надежде на возможность спасения и примирения в последнюю минуту даже и самых трусливых и мало-

душных моих последователей, которых, быть может, только одни эти сомнения и удерживают еще отчасти… Вы видите, я вовсе уж не столь жестокий господин, как это многие еще до сих пор думают. Испробуйте на себе мою власть, примите предлагаемую мною вам помощь и наслаждайтесь себе жизнью, как наслаждались ею до сих пор. Наслаждайтесь полнее, шире расставляйте локти на столе пира жизни! Я вас не выдам. А когда станет близиться ночь и занавес начнет опускаться, то, говорю это вам для вашего успокоения и утешения, вы сами удивитесь, как легко вам будет уладить свою маленькую ссору с вашей совестью и заключить мир с Господом Богом. Я как раз только сейчас от смертного одра такого умирающего. Вся комната была полна родных и друзей, и все они искренно оплакивали его, с благоговением прислушиваясь к его последним словам, и когда я заглянул ему в лицо, в лицо этому человеку, всю жизнь не знавшему ни сострадания, ни милосердия, я увидел, что лицо это примиренно улыбалось, просветленное надеждой.

– И вы полагаете, что и я такой, как и он? – спросил Маркхейм. – Вы думаете, что и у меня нет иных, более высоких стремлений, как только грешить, грешить и грешить, а под конец как-нибудь змеей проползти в рай? Вся моя душа возмущается при подобной мысли. Неужели вас этому только научил ваш опыт по отношению к роду человеческому? Или же вы потому так говорите ср мной, что застали меня с руками, обагренными кровью, и потому предполагаете, что я

должен быть способен на всякую подлость? И неужели это преступление, убийство человека, такой ужасный поступок, что из-за него должен иссякнуть навсегда в человеке даже самый источник добра?

– Для меня убийство не представляет собою особой категории греха, – возразил собеседник. – В сущности, если вглядеться поглубже, все грехи – убийства тем или иным способом, точно так же, как самая жизнь есть война не на жизнь, а на смерть. Я смотрю на весь ваш род людской, как на обреченных на голодную смерть моряков на затерявшемся среди океана судне, где вышли съестные припасы. Все вы вырываете последнюю корку хлеба изо рта голодного и питаетесь за счет жизни другого, подобного вам несчастливца, как озверевшие от голода люди поедают друг друга, так точно поедают друг друга, все хотя это и не сразу заметно. Я слежу не столько за самим актом игрока, слежу за его последствиями, и пришел к тому убеждению, что в конечном итоге каждый грех влечет за собою смерть, а на мой взгляд хорошенькая девушка, которая перечит своей матери, с очаровательной грацией противореча ей по поводу какого-нибудь пустого, бального вопроса, точно так же, хотя и менее видимо, заставляет сочиться человеческую кровь, как и такой убийца, как вы. Я сейчас сказал, кажется, что я слежу за грехом и его последствиями, но я точно также слежу и за добродетелями и говорю вам, что, в сущности, добродетель и порок ничем не отличаются друг от друга; между ними, можно сказать, нет

ни на йоту разницы; как одни, так и другие являются косой в руках ангела смерти. То зло, ради которого я существую, заключается не в самом поступке, а в самой душе преступника; мне дорог злодей, а не его злодеяние плоды которого, если бы мы могли их проследить достаточно далеко вперед по бушующим порогам, водопадам и стремнинам жизни, могут быть более благословенными, чем плоды величайших подвигов добродетели! И теперь я предлагаю вам обеспечить вашу безопасность и предоставишь вам возможность наслаждаться жизнью отнюдь не потому, что вы сейчас убили человека, но потому, что вы Маркхейм.

– Я открою вам мою душу, – сказал Маркхейм, – это преступление, на котором вы накрыли меня, – последнее! По пути к нему я научился многому, понял и постиг очень многое, и само оно явилось для меня громадного значения уроком! Уроком, которого я никогда не забуду. По сие время мною руководило возмущение, и, возмущенный несправедливостью судьбы, я часто делал то, чего я не хотел, против чего восставала моя душа! Бедность поработила меня, я был ее подневольным рабом, она угнетала меня, толкала, куда я не хотел, хлестала меня своим беспощадным бичом. Есть, конечно, сильные натуры, которые могут устоять против искушения, могут восторжествовать над своими склонностями и соблазнами; но я не был таков, меня мучила жажда наслаждений! Но отныне в этом проступке моем я разом почерпну и богатство, и предостережение, и вместе с тем и силу, и

свежую решимость быть впредь самим собой. Теперь я становлюсь во всех отношениях свободным в своих действиях и вижу себя совершенно преображенным, совершенно другим, новым человеком! Эти руки станут орудием добра, это сердце полно примирения, любви и сострадания к ближним. На меня как будто что-то находит, во мне вырастает из самой глубины души что-то далекое, давно забытое, чистое, светлое и хорошее! То, о чем я мечтал в детстве в праздничные дни под звуки церковного органа, то, что я предвкушал, когда проливал слезы умиления над благородными поступками героев в хороших, умных книгах, или беседовал с покойной матушкой, когда я еще был чистым и невинным ребенком, и всем сердцем внимал ее благим советам, поучениям и наставлениям. Передо мною лежит вся моя жизнь; в течение нескольких лет я блуждал, но теперь я снова вижу перед собой обетованную землю, и намерен неуклонно идти к ней.

– Вы, вероятно, пустите эти деньги, в оборот? Употребите их на игру на бирже? – спросил посетитель. – Но ведь именно на бирже, если я не ошибаюсь, вы уже проиграли не одну тысячу фунтов.

– Это что! Мало ли что было! – возразил Маркхейм. – На этот раз я буду играть наверняка!

– И на этот раз вы опять проиграете, – спокойно и уверенно произнес гость.

– Но я половину оставлю про запас!

– И эту половину вы тоже проиграете, – так же уверенно

и безапелляционно заявил собеседник. При этих последних его словах пот выступил, на лбу у несчастного.

– Ну так что же! Что за беда! – воскликнул он. – Допустим, что я проиграю, что я снова окажусь в нужде, в нищете, так неужели же всю жизнь во мне всегда будет одерживать верх только все то, что во мне есть дурного, и так до конца дней моих! И все это дурное будет постоянно подавлять и душить во мне все хорошее, все светлое, чистое и прекрасное!.. Нет; и зло, и добро одинаково сильны во мне, и вот почему меня, влечет и в ту, и в другую сторону; я люблю не что-нибудь одно, я люблю все! Я способен понимать и великие, и благородные поступки, способен и на самоотвержение, и на отречение, даже на мученичество! И хотя я сейчас только дошел до такого преступления, как убийство, я тем не менее не чужд и чувства сострадания, и сочувствия, и жалости, и доброжелательства! Да, я жалею бедных, и кому знать ближе их мучения и страдания, как не мне! Я люблю честный, открытый смех; и нет на свете такой хорошей, благородной и прекрасной идеи или мысли, нет ничего честного, высокого, благородного и великодушного, чему бы я от всей души не сочувствовал, что не нашло бы отклика в моем сердце! Так неужели же одно только зло всегда будет руководить всей моей жизнью? И все мои дурные стороны неизменно будут брать верх над моими добрыми душевными качествами, которым суждено оставаться бесплодными и лежать на дне души моей, подобно бесполезному хламу, сваленному на чер-

даке? Нет, нет! Не может быть: все доброе такая же могучая пружина, как и все злое, и оно также может руководить жизнью человека!..

Но тут странный посетитель поднял кверху палец и остановил его:

– Все тридцать шесть лет вашей жизни на этом свете я следил за вами во всех перипетиях вашей жизни; я видел вас при самых разнообразных обстоятельствах, во всевозможных обстановках, в минуты самых разнородных настроений, самых простых и сложных переживаний, и, следя за вами на протяжении всего этого долгого периода времени, на протяжении, можно сказать, всего пройденного вами жизненного пути, я видел, как вы все время катились, словно по наклонной плоскости, как вы падали все ниже и ниже, как вы становились с каждым днем податливее и слабовольнее. Припомните, хотя бы пятнадцать лет тому назад вы содрогнулись бы при мысли о краже! А всего каких-нибудь года три тому назад вы побледнели бы при одном слове «убийца», а теперь, скажите мне по совести, разве вы не подыскиваете оправданий вашему поступку, не стараетесь свалить вину на условия жизни? Есть ли такое преступление, или такое злодейство, жестокость или безумство, перед которыми бы вы остановились? Есть ли такая низость или подлость, от которой бы вы отвернулись? Нет такого греха или такого дурного поступка, на который бы вы не отважились! Нет такого страшного преступления, которое вы бы побоялись взять на душу!

Лет через пять я представил бы вам неопровержимые доказательства всего этого, я уличил бы вас на деле. Все под гору, вниз, ведет ваш жизненный путь, и ничто, кроме смерти, не может вас спасти или остановить вас в этом стремительном падении.

– Да, это правда, – хрипло проговорил Маркхейм, – я действительно примирился до известной степени со злом, свыкся как-то с ним, освоился и поддался ему… Да, но то же самое бывает ведь со всеми; даже и святые, и те часто поддавались злу и всякому искушению, и даже величайшие проповедники от одного соприкосновения с жизнью становились менее праведными и непорочными, делались более похожими на других, становились, так сказать, под стать большинству окружающих и всему окружающему.

– Постойте, я предложу вам один простой вопрос, – сказал на это собеседник, – и сообразно тому, что вы мне на него ответите, я предскажу вам ваше будущее. Неоспоримо верно, что вы во многом стали податливее и менее строги к себе, возможно, что вы правы, поступая так, не спорю, и, кроме того, у вас есть готовое оправдание, что то же случается с большинством людей. Пусть так, но скажите мне, стали ли вы хоть в чем-нибудь, хотя бы даже самом пустячном и незначительном, строже, взыскательнее и требовательнее, чем раньше? Смотрите ли вы теперь неодобрительно и укоризненно на какие-нибудь ваши личные поступки или ваше общее поведение, или же вы на все решительно махнули ру-

кой? Укажите мне хотя бы на что-нибудь, что можно было бы признать за тень или за признак улучшения в вашей морали! Укажите мне, в чем вы стали лучше, чем были!

– Ни в чем! – воскликнул Маркхейм с внутренним мучительным сознанием своего нравственного падения. – Ни в чем решительно! – повторил он с неподдельным отчаянием. – Во всех отношениях и во всем без исключения я постепенно падал все ниже и ниже!

– Да… Ну, а если так, то мой совет примириться с тем, что вы есть, – сказал гость, – это бесспорно самое разумное, потому что вы никогда не изменитесь к лучшему. Ваша роль здесь, на свете, иная: вам предназначено судьбой идти от падения к падению. Так уж предначертано в книге судеб!..

Маркхейм долго молчал, погрузясь в мрачное, тяжелое раздумье. Первым прервал молчание его собеседник.

– Послушайте, раз это так, – сказал он, – то уж не указать ли вам, где лежат эти деньги?

– Разве я не могу даже искать спасения? Разве для меня не может быть возрождения?!

– Ведь вы уже испробовали это средство! Не я ли видел вас года два тому назад на митингах общества «Духовного Возрождения», где ваши речи раздавались всех громче, где и вы воспевали с хором гимн покаяния, провозглашали воскресение к новой жизни на земле, расцветающей на развалинах греха и порока!.. Ну, и что же из этого вышло?

– Ничего!.. – упавшим голосом согласился Маркхейм. –

Да, вы правы! И все, что вы мне здесь сейчас сказали, все это правда!.. Теперь я ясно вижу, что мне остается делать, и в чем теперь заключается мой долг. Благодарю вас за этот урок, благодарю от всей души! Теперь глаза мои раскрылись, и я вижу себя таким, каков я есть на самом деле.

Он смолк. В этот самый момент резкий звук колокольчика у входной двери, дребезжа, раздался по всему дому. При этом звуке, как будто это был заранее условленный сигнал, которого он ждал, странный посетитель вдруг разом изменил свое обращение.

– Это прислуга! – воскликнул он. – Вы видите, она вернулась, как я вас о том предупреждал. Теперь вам предстоит еще одно маленькое затруднение – отвлечь ее внимание от вас и не дать ей заметить и догадаться, что здесь случилось нечто не совсем обычное. Вы должны сказать ей, что ее господин заболел, но вместе с тем вы непременно должны впустить ее в дом и при этом все время сохранять совершенно уверенный, спокойный, но несколько серьезный и озабоченный вид. Никаких улыбочек или усмешек, главное дело – это не переигрывать, и тогда я ручаюсь вам за успех. Раз она войдет в сени, и дверь за ней будет заперта покрепче, то с помощью той же ловкости и проворства, какие вы применили к ее господину, нетрудно будет избавиться и от ее нежеланного и неудобного присутствия и устранить с вашего пути и эту последнюю опасность. Раз это будет сделано, весь вечер будет в вашем распоряжении, а если нужно, то и вся

ночь. Все это время вы можете употребить на разграбление собранных здесь сокровищ и на то, чтобы обезопасить себя от всякого рода подозрений. В этом, конечно, я тоже могу помочь вам. В сущности, ее приход является для вас и помощью, и даже в некоторой степени спасением под видом новой опасности. Только действуйте смелее, мой милый друг, не то помните, что ваша жизнь висит на волоске! Мешкать нельзя, надо действовать!..

Маркхейм пристально смотрел на своего советчика и не особенно торопился.

– Если я обречен на одни только дурные поступки, если мне суждено, как вы говорите, творить только зло, – сказал он, – то у меня остается еще один свободный выход из этого положения; передо мной еще открыта дверь к спасению – я могу перестать творить что бы то ни было! Могу отказаться от каких бы то ни было поступков. Если вся моя жизнь есть не что иное, как одно сплошное зло, то я могу отказаться от нее!.. Хотя я, – как вы совершенно справедливо заметили, – поддаюсь каждому малейшему искушению, я все-таки еще способен одним решительным движением поставить себя в такое положение, где я стану совершенно недоступен никаким искушениям. Вы утверждаете, что моя любовь к добру, ко всему честному, благородному и прекрасному обречена на бесплодие, – возможно, что так! Но даже если это и так, то, помимо этой любви и наряду с ней, во мне живет и ненависть ко всякому злу, и из-за этой ненависти, к горчайшему

вашему разочарованию, любезный мой советчик и благожелатель, вы увидите, что я сумею почерпнуть в себе достаточно энергии и решимости, чтобы противостоять злу.

При этих словах физиономия гостя заметно изменялась; в ней наблюдалась какая-то удивительная перемена, можно сказать, почти приятная: выражение его лица как-то смягчилось и просветлело; в нем чувствовалось и торжество, и некоторая нежность, но при этом само лицо его как будто стушевывалось, как будто расплывалось, точно туман.

Но Маркхейм не остановился над наблюдением перемены, происшедшей в лице его собеседника, он не дал себе труда вникнуть в смысл и в значение этого превращения, он отворил дверь на площадку и стал медленно спускаться по лестнице, погруженный в глубокие думы.

Все его прошлое постепенно и последовательно развертывалось перед ним, и он видел его таким, каким оно было в действительности: неприглядным, безобразным, как кошмар, случайным, как пестрая смесь мотивов в каком-нибудь музыкальном попурри. Вся его жизнь предстала теперь перед ним как одна общая картина поражения.

Жизнь, такая, какою он видел ее теперь, не прельщала его более, она не манила его к себе, не сулила ему ни радостей, ни утех, напротив, она отталкивала его, как нечто гадко-кошмарное, что тяготит и давит, и порабощает его, а там вдали, по ту сторону этого печального земного бытия, ему виднелась тихая пристань для его разбитой бурей ладьи.

В сенях он остановился и заглянул в лавку, где на конторке над трупом убитого им антиквара все еще горела, колыхаясь, свеча. Теперь там было как-то особенно тихо и безмолвно, как в пустой церкви. Маркхейм стоял и смотрел на покойника, и мысли о нем вдруг целым роем закружились у него в голове.

Вдруг колокольчик снова, на этот раз нетерпеливо зазвенел и задребезжал на весь дом. Маркхейм очнулся и пошел к двери. Отворив, он встретил прислугу на пороге и остановил ее. На лице у него блуждала слабая тень печальной улыбки, а голос звучал спокойно, кротко, почти ласково.

– Знаете, вы бы сходили за полицией, – сказал он, – я убил вашего хозяина.